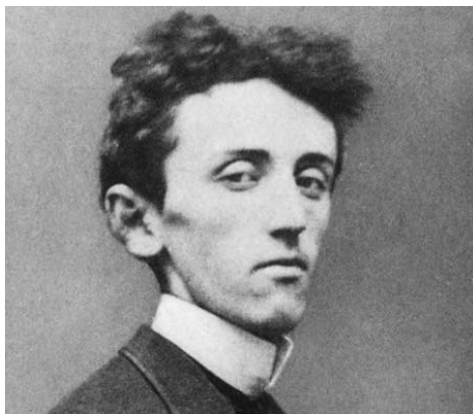


КАРЛО ДОССИ

[182]

ИЛ 12/2018



Рассказы

Перевод и вступление Анны Ямпольской

Имя Карло Досси (Карло Альберто Пизани Досси, 1849—1910) вряд ли известно русскому читателю — разве что вспомнится пара-тройка афоризмов, кочующих из одного сборника в другой. Потомок знатного рода, блестящий дипломат, писатель, близкий к миланской “скапильятуре”¹, Досси оставил богатое наследие, не вмещающееся в узкие рамки литературных дефиниций: автобиографические романы “Прошлое: черным по белому”, “Жизнеописание Альберто Пизани”, “Любови”, роман-аллегория “Счастливая колония”, юмористические зарисовки “Капли чернил” и “Окончание на ‘А’”, записные книжки “Голубые заметки” и прочее.

Представленные ниже рассказы из книги “Капли чернил” — говоря словами самого автора, “сценки, короткие романчики и прочее, для написания которых много чернил не требуется”, — позволяют составить представление о писательской манере Карло Досси. Короткие тексты, похожие на журналистские зарисовки, почти лишены действия, зато мы в полной мере можем оценить наблюдательность автора, любовное внимание к мельчайшим деталям, умение несколькими мазками нарисовать яркую сценку — не случайно рассказы Досси часто сравнивают с жанровыми полотнами Уильяма Хогарта. Подобно картинам английского живописца, пронизанные юмором рассказы итальянского писателя — это фрагменты мозаики, складывающиеся в широкую картину человеческой комедии.

© Анна Ямпольская. Перевод, вступление, 2018

1. Скапильятуре — литературное и художественное движение, зародившееся в Италии 1860-х гг. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

А ведь в доме этом не было ничего диковинного! Ни низко нахлобученной крыши, ни причудливых дымовых труб и башенок, ни каббалистических знаков. Зауряднейший домишка о двух этажах со своим почтеннейшим номером без единицы и тройки, скромно побеленный, с серыми ставенками...

— Да только ставни были вечно затворены!

И что с того? Что бы сие означало? Разве что дом этот любил поспать больше соседей. Отчего непременно полагается раскрывать днем глаза?

Ведь и хозяин его, по крайней мере на вид, был человек заурядный: жердяй с седой бородашкой, коих немало. И всё же люди звали его колдуном, всё же мамыши, грозя расшалившимся деткам кликнуть его, сами невольно пугались. А он-то, смею вас заверить, так бы и расцеловал малышню, разбегавшуюся при одном его появлении! Впрочем, что это за колдун, ежели, повелевая целым сонмом духов, всякое утро, сгорбившись и охая, с завязанной узелком салфеткою он собственной персоне плелся в лавку купить себе мяса, хлеба да соли на пять грошей? По мне доморощенный колдун, да и только!

Куда там! Попробуй-ка переубеди контраду Сан-Рокко! В памяти ее обитателей прочно засела байка двух работников: допущенные в таинственный дом починить дымящий камин, они увидели на большом блюде отрубленную голову, с которой еще не содрали волосы, с остекленевшими глазами, а во рту... курительная трубка! А после подсобник Тонио рассказывал загорбым голосом, как ведьмак, отведя его в сторонку, посулил кучу золотых монет за то, чтобы тот сломал перекладину у деревянного креста, висящего на некоей двери...

— Само собой, — прибавлял Тонио, — я отказался.

— Курьи твои мозги, — корили его священники, — надобно было соглашаться, а после весь год молебны заказывать!

Да, вот еще что: в один прекрасный день обитатели контрады Сан-Рокко увидели, как перед домом колдуна остановилась повозка, и с нее принялись сгружать котлы, реторты и колбы. Округа переполошилась, хотя всего два месяца тому назад невозможно следила за тем, как к проживавшему ровно напротив винокуру приволокли целую гору подобных орудий!

— Никак золото добывает! — глотая слюнки, перешептывалась толпа. Впрочем, толпа, как водится, заблуждалась: колдун искал не золото, а нечто пугающее и вместе с тем притягательное.

Несчастный! Его терзал злейший из недугов, кои только можно вообразить, ибо при всех прочих недугах спасает са-

мообман, временное облегчение или сила самой болезни, лишающая нас способности ее замечать; его же бесконечная пытка, рожденная и питаемая воображением, принимала все новое обличье и ни на миг не ослабевала.

Еще мальчишкой он сжимал кулаки, еле слышно произнося “смерть”, и ощупывал лицо, следуя линиям черепа. Повсюду он видел ее приметы: всходил ли по лестнице — всякая ступенька казалась ему годом жизни... О! Как же близок верх! Порой, мучимый неизъяснимым страхом, он с криком метался по комнатам...

— Да что с тобой? — допытывалась маменька.

Весь дрожа, он молчал.

И дабы подавить жестокий страх, в юности он уверовал: спасение в том, чтобы полностью отдаться ненавистной мысли — лелеять ее, сосредоточиться на ней одной. Увы! Лекарство оказалось никудышным. Разумеется, найдется немало книг, знакомящих нас со смертью: в них изображены освещенные солнцем и увитые розами урны; однако прочие многочисленные сочинения (написанные большей частью монахами, огрубевшими из-за разлуки с миром) лишь усугубляют боязнь, являя нашим глазам всевозможные ужасы... когти, хвосты, жуткую ветошь на постели или под ней, саваны и смрадную тьму. А поскольку куда наклонись, туда и повалишься, Мартино, вместо того чтобы распахнуть ставни и взглянуть на ясное небо, еще крепче затворился во мраке.

За одной ошибкой последовала другая: он занялся врачебной наукой. Еще прежде психология отняла у него всякую веру и знание о том, что наследует после смерти душа, оттого сия наука лишь глубже завела его в лабиринт сомнений касательно человеческого тела. Одно он себе уяснил: хрупка основа, на которой выткана наша жизнь, и многочисленны случайности, способные сделать в ней прореху. Так новая наука причинила ему новые страдания.

Между тем среди мрачных теней просочилось и нечто иное. Тени эти и его молодость толкали друг друга; Мартино принялся кутить, бегать за юбками и на время сумел уйти от себя.

Но однажды ночью, когда пиршество, переходящее в безобразный разгул, достигло зенита, белокурая Джулия, вместе с которой он испил жизнь, решительно встала, подняла бокал, воскликнула: “Да здравствует...” — и внезапно, не договорив, рухнула навзничь.

Сердце ее разорвалось. Мартино упал без чувств: решили, что виной тому кончина Джулии, но дело было в его собственной кончине! В кончине, внезапно представшей его внутреннему взору. Он уже разменял третий десяток, сколько еще оставалось? Столько же? О, какая насмешка!.. Допустим, он

проживет сорок, пятьдесят лет... наскребем еще несколько ...летий. Что это? Все равно насмешка.

— Нет, я не желаю умирать! — воскликнул он и поклялся: — Я не умру.

И, обуреваемый отчаянием, он с головой погрузился в естественные науки, раскрывшиеся под его напором, словно волна перед пловцом. Однако волна все не иссякала. Яростно, без устали прозанимавшись двадцать лет (двадцать лет, отданных смерти), он обзавелся богатейшим собранием тайн, о коих прежде не подозревал, научился превращать труп в камень, останавливать ход человеческой жизни и вновь заводить ее часы, он даже узнал, на какую нажать пружинку, дабы повелевать оными часами, но он был бессилен и, что еще ужаснее, утратил надежду научиться бесконечно продлевать биение сердца, начавшееся по воле... По чьей же воле? Кто знает! Меж тем тело его утратило былую крепость, борода поседела; в воображении уже рисовалось, как далеко зашел он по узкой тропинке, петляющей среди неприступных гор, что постепенно смыкаются у него за спиной, — тропинке, в путешествии по которой не выручат ни отвага, ни осторожность: желаешь ты этого или нет, надобно шагать вперед, все время вперед, пока бездна не поглотит тебя.

До сих пор Мартино странствовал по земле и воде, пугаясь мысли, что комната, где он поселится, станет его последним пристанищем, и жадно созерцая смерть на всех широтах. О, сколь великое собрание вздохов получил он в наследство!.. Всякий раз, отходя от постели покойника, он стонал: "Однажды она придет... за мною". И вот почувствовав, что неисправимые поломки во внутреннем устройстве грозят ему гибелью, он решил незаметно бежать со сцены сего мира, забиться в укромный уголок и в одиночестве дожидаться ее, лелея надежду таким образом избежать рыдания друзей, свечного чада и бормотания священников — словом, всех пышных обрядов, сопровождающих последний шаг. Тогда-то и приобрел он скромный двухэтажный домишко в пригороде.

Невольно ужасаешься, думая о годах, что издали кажутся столь краткими, а вблизи столь долгими, — годах, прожитых им наедине с самим собою. Я живо представляю, как, тяжело дыша, он почти восседает на расчлененном трупе, допытываясь: "Где ты, смерть?" — и разыскивая следы жизни, той жизни, которая... Есть что? Определений ей нет числа — материалистических или спиритуалистических. Каждое куда-нибудь да ведет, а попробуй собрать их вместе — все рассыпается.

В отчаянии Мартино падал на колени, моля Бога, в коего в глубине души он прежде никогда не верил, как не верил и ныне, лишить его разума; после, устыдившись своего малодушия,

он спешно отказывался от просьбы. Порой, с блуждающим взором, словно обезумев, он требовал от науки раскрыть то, о чем она молчала; то он варил дьявольские зелья, то, напрягая всю свою волю, произносил страшные заклинания, то, охваченный трепетом надежды, перелистывал мудреные сочинения лежащих под землею писателей, которые давали подробные наставления, как обрести вечную жизнь и неувядающую молодость.

Но время неумолимо текло.

Однажды на рассвете к привратницам колдуна явился сосед в домашних туфлях и наброшенном на исподнее плаще и заявил, что в доме кто-то умирает или кому-то помогают умереть: он, дескать, слышал крики, предсмертные хрипы.

Остолбеневшие привратницы переглянулись в растерянности. Нарушить ли строгий хозяйский запрет? Пройти ли к лестнице? Подняться? Некоторое время они колебались. Но дело было неотложное, и они решились. Поднявшись наверх, они услышали испуганный голос колдуна, кричавшего: “О, пожалей меня, пощади!” — а после долгий стон.

Они поспешили в комнату.

Мартино, переживавший один из мучительнейших приступов некрофобии, свалился с постели, на которой словно всю ночь ведьмы плясали, и теперь в слабом расветном свете сидел перед зеркалом, со страхом вглядываясь в свое отражение. Должно быть, вид его был ужасен, раз обе женщины замерли, похолодев, а сосед побежал... искать священника.

Лучше бы он этого не делал!

Колдун понял, что пропал, что настал его час.

— Прочь, уйди! — завопил он.

Но священник попытался взять его за руку. Мартино в ужасе отпрянул назад, словно дотронувшись до змеи, наткнулся на кровать, рухнул в раскрытые объятия...

И тут, испугавшись смерти, умер.

Сиюминутное мнение

Т РАКТИРЩИК воротился с бутылкой grand vin blanc¹, наполнил два бокала, один подал Антонио, другой — мне.

Мы же — надобно вам представлять себе сценку — восседали друг напротив друга. Антонио — на каменной лавочке у входа в трактир, я — чуть поодаль, на дубовом пеньке.

1. Белое вино первого розлива, что, как считается, гарантирует лучшее качество (*франц.*).

Трактирщик удалился. Внимание! Дело принимает любопытный оборот.

Нет, ручаться не стану, возможно, Антонио всего лишь облизнул губы, но мне почудилось, будто, сделав первый глоток, он едва заметно усмехнулся. Что прикажете поделаться? Назвать ли это угодливостью? Или трусостью? Когда мы оказываемся рядом с важными или равными нам персонами, с которыми мы недавно свели знакомство, лицо наше превращается в отражение их лиц. Поведают ли они о беде — нет никого печальнее нас. Об удаче — и у нас счастливейший вид! Одарят взглядом — мы в ответ улыбнемся.

Вот и я улыбнулся.

Антонио, верно, испытывал те же чувства. Встретив мою улыбку, он еще резче скривил рот в усмешке, бросил взгляд на меня, затем на бокал, затем вновь на меня...

Я проделал то же самое.

Продолжая игру, Антонио хмыкнул — да столь многозначительно, что его “хम्म” и вовсе утратило всякий смысл.

И тут я решился: “Как вы находите?..” — тихо спросил я, сперва вопросительно поглядев на свой бокал, а после — на Антонио.

Полминуты царило молчание.

— Скверное, да? — спросил приятель, усаживаясь поудобнее.

— Похоже, дрянь! — согласился я с видом истинного знатока.

Вновь повисло молчание.

— Тьфу! — презрительно фыркнул Антонио и водрузил бокал на широкий пень, служивший столом.

Содержимое своего бокала я выплеснул на землю.

А вино между тем было преотменное! Потом нас в этом заверил Джиджи, записной выпивала.

*De consolatione philosophiae*¹

— **О** СТАЕТСЯ лишь уповать на Господа, — торжественно объявил лекарь.

Лицо Арриго стало бледным, как лицо его юной супруги, лежавшей пред ним — с глазами, прикрытыми рукой смерти, — на той самой постели, что помнила столько жизни и радости. Арриго чуть было не закричал, но поборол себя и,

1. Автор ссылается на знаменитый трактат “Утешение философией” Анция Манлия Торквата Северина Боэция.

не имея мочи терпеть, ринулся в соседнюю комнату тайком излить свое горе. Там он рухнул в кресло, закрыв ладонями лицо.

Бедная Лиза! Бедная Лиза! Не минуло и года с того дня, как она возникла на его пустынном, одиноком пути, будто утренняя роса, будто цветок: ему живо виделось, как она, сияя молодостью и свежестью, вступает в его пыльный кабинет, прогоняет мышей и моль, распахивает ставни перед всемогущим творцом — солнцем, перед пылающей любовью природой. О, сколь жестоко мстили книги сопернице!

И Арриго в отчаянии зарыдал.

Неужто не отыщется утешения в сей грозной, ужасной и нежданной беде? Неужто человек обречен оставаться одиноким и беззащитным перед голодными зверями, рвущими его сердце? Зачем он отдал науке долгие годы, зачем чахнул над книгами, собирая по крупинкам чужой опыт, коли теперь, в час нужды, ничто не в силах утолить его страдания? Зачем изучать науки, коли он так и не научился жить со своей неизменной спутницей, бедой, как с подругой? Зачем предаваться размышлениям?

О приди, философия! Ты, что глядя на предметы и на события, находящиеся вне нас, видишь их суть, а не преходящее! Ты, что всему находишь оправдание и ничему не дивишься: философия, превратившая нищету Эпикура в богатство, а достаток Сенеки в счастье, агонию Сократа в диспут и эксперимент, а империю Марка¹ в мирную академию! Ты, не оставляющая тех, кто любит тебя, единственное богатство, неподвластное ударам судьбы!

Приди и утешь меня! Тебе, живущей в чудесных, невозмутимо спокойных краях, прекрасно известно, что есть мир — точка, едва заметная точка. Что же тогда представляет собой человечество со своими мелкими страстишками? И где между вспышкой молнии жизни и громом смерти находится человек?

Философия, одари меня, если не улыбкой, хотя бы бесстрашием мудреца! Солги, но утешь меня!

Нет зла, из коего не проистекает добро. Природа постоянно, неисправимо добра. Над мрачными тучами сияет незамутненная синева: тучи развеются, синева — никогда. Коли ты полагаешь, что жизнь подобна горестному вздоху, разве не смерть прекратит его? И коли смерть положит конец страданию, отчего ты ее ненавидишь, проклинаешь и гонишь от тех, кого любишь?

Любишь! Верно, но вечно ль продлится твоя любовь? Лиза красива... старость сделала бы ее уродливой. Лиза добра... из-за уродливости она казалась бы злой. А нынче, умирая до срока,

1. Римский император Марк Аврелий Антонин.

она оставит о себе нетронутое временем воспоминание. Она навеки пребудет юной, прекрасной, нежной... навеки твоей. Любовь ведь питается не столько удовлетворением, сколько желанием. Вечно любят лишь идеал, ибо достичь его невозможно. Все, что имеет начало, однажды обречено прекратиться. Так не лучше ли ему прекратиться прежде, чем придет насыщение?

К тому же ты рожден для науки. А наука требует покоя... Где обрести его, кроме как в одиночестве? Отвлекаясь на повседневные мелкие заботы ради семьи, одним глазом поглядывая на похлебку, которой ждуг детишки, а другим — на литературные труды, ты всю жизнь, так сказать, будешь коситься то в одну, то в другую сторону, вечно недовольный собой. Пойдя двумя дорогами, ни одну не пройдешь до конца; не натянув тетиву лука своих мыслей, дабы поразить единственную цель, не поразишь ни одной. Следовательно, будь благодарен провидению за то, что испытание горем привело тебя обратно к блаженству. Книги твои уже простили тебя и ждуг, готовые вновь раскрыть пред тобой свою сокровищницу, дабы ты вновь прочел в них — на полях и между строк — заветные тайны. Сколько часов, сколько дней блаженства ожидают тебя в обществе старинных приятелей! Вот ты за письменным столом, слившись с ним воедино, позабыв о презренной плоти, что камнем тянет душу на дно, позабыв о каторге, что зовется миром, — вот ты, слившийся в плодотворном объятии с чужим умом, порождая из старых идей новые, прокладывая путь в будущее, добавляя новые ступени к бесконечной лестнице, ведущей к Богу...

И вот уже рыдания затихли, глаза Арриго вновь загорелись. Философия, которую он так страстно призывал, сидела у него на коленях, опустив голову ему на плечо.

Как вдруг появился лекарь. Лицо его из вытянутого превратилось почти что в круглое.

Они удивились друг другу.

— Спасена! — растроганно воскликнул лекарь.

— Неужели? — спросил Арриго надтреснутым голосом.

Он был рад? Спешите-ка сюда с вашими склянками, химикки чувств!

Лотерея

ПЕРЕД вами самая что ни есть обыкновенная привратничья. Просторная, низенькая, свет проникает через единственное глухое оконце под потолком, обклеенное бумагой, вторая его половина освещает верхний этаж; замызганный пол, разномастная мебель — многие ее

предметы явно входили в большие гарнитуры. В глубине громадная кровать — один из тех катафалков, на которые вскакивают с разбегу, предварительно с опаской взглянув на ложе, застеленное шерстяным покрывалом в белую с голубой клетку и защищенное святыми образами, что густо покрывают всю стену над изголовьем.

Можно сказать, привратницкая служит всему дому свалкой. На стенах — картины самого разнообразного происхождения, с разбитым стеклом и вовсе без оног... генеалогические древа и картинки из косморамы¹, моды времен Жозефины Богарне², а также коллекция старых календарей; на столиках и комодах — вазы с поблекшими, запылившимися бумажными цветами, алебастровые статуэттки с отбитыми частями, восковые груши, яблоки и младенцы Иисусы, одинокие тома из каких-то собраний, треснувшие фарфоровые и фаянсовые безделушки, ношенные перчатки, свинцовое грузило, помнящее бог знает сколько поплавок, большие и маленькие бонбоньерки в память обо всех сыгранных в городе свадьбах, внутри еще томятся сладости. Темный закуток завешен одеждой, отданной прежними владельцами за ненадобностью.

Все здесь, разумеется, трачено временем и неряшливо, как и сами престарелые хозяйки. А хозяек две: первая, по фамилии Пинчироли, — приземистая и костлявая, постоянно озабочена пополнением запасов продовольствия; вторая — мадам Чириминаги — вылитая матушка-настоятельница, вечно восседает в широком кресле и размышляет о душе, читая молитвы, перебирая четки и злословя о ближних.

А теперь не угодно ли вам кое-что узнать? Обещайте только, дорогие мои, что это останется между нами: наши привратницы... невероятно богаты!

Что это вы вылупили глаза? Вы уж верно решили, что у них живет ослик-золотое копытце или имеется волшебный кошелек: я угадал или нет?. Ну так вот, сейчас я вас окончательно запутаю, прибавив, что, хотя мешков с золотыми монетами у них нет, героини наши счастливы — настолько, насколько это возможно.

В чем же их страшная тайна?

Они играют в лотерею.

1. Косморама — картина, представляющая большое пространство земли с находящимися на ней предметами, написанная и поставленная так, что создается иллюзия живой природы.

2. Жозефина Богарне — первая жена Наполеона.

— О-о, пора назвать три числа! — объявляют они, пощелкивая языком. — Прелестные числа! — и они принимаются ломать голову над тем, как потратить королевские двадцать лир¹.

Мадам Чиримиаги не прочь приобрести домик у озера, чтобы кататься на лодочке; Пинчироли мечтает о домике в горах — завести коровушку. Разгораются споры, приводятся доводы в пользу того и другого прожекта; после обе ложатся спать и видят счастливые сны.

На следующий день Пинчироли отказывается от коровы и все-таки решает обосноваться у озера. Она покупает дом и принимается размышлять, как бы его устроить и все в нем убрать. Одна стена — здесь, другая — там: вот получился просторный дом, да что там — настоящий дворец! В каждой зале ковры, огромные зеркала, светильники. Звонят колокольчики, сбегают слуги, запрягают четверку лошадей.

И поскольку приятельницы наши не сомневаются в выигрыше, они обладают всем этим на самом деле, и ничто не мешает им насладиться радостями, кои приносит богатство, не познав связанных с ним неудобств; они все покупают и покупают, а утомление от обладания все не наступает. Им принадлежат огромные состояния, но они не платят налогов ни властям, ни Господу Богу; им принадлежат дома, но они не боятся ни воров, ни пожаров, они тратят баснословные суммы, а их кошелек все не легчает.

И не подумайте, что разочарование, постигающее их всякую неделю, оказывается для них тяжким ударом.

— Что поделаешь! — вздыхает, топя восвояси, худышка.

— Значит, в следующий раз повезет! — заявляет, как ни в чем не бывало, толстуха. А после, когда воспоминания о проигрыше больше не тревожат, они принимаются подыскивать новые числа более приятной наружности.

Но тут до меня доносятся голоса той породы людей, что, потеряв нюх, во всем слышат запах разложения; они кричат: “Сторонитесь его! — указывая на меня, — это продажная душонка!”. Мне чудится, что я слышу и иные голоса — тех, кто превращает филантропию в ремесло и разжевывает науку простому люду; они вопят: “Не слушайте его, работяги! Собирайте все в одну кучу! Хотите выиграть в лотерею? Ставьте сразу все ваши денежки!”. Ну так вот, первым я отвечаю, что доверяю собственному носу, вторым — между прочим, вполне порядочным людям, — что они чересчур увлеклись математическими методами, иначе говоря, рассуждают, как машина. У человека, особенно у бедняка,

1. В конце XIX в. двадцать лир представляли собой довольно внушительную сумму.

чтобы не пошатнуться, имеется немало опор помимо собственных ног. Первейшая из них — надежда. А стоит она, коли я ничего не путаю, всего пятьдесят центезимо в неделю.

[192]

ИЛ 12/2018

Недовольство

ПРОБИЛ час, когда в городах охотники за окурками зажигают свои фонарики, голытьба, у которой в брюхе пусто, устраивает засады на кошек¹, а несчастные, стыдящиеся людей карлики, закутавшись в широкие плащи, спешно разбегаются из лавочек по домам. Последние лучи солнца зажгли пламя на полке с медной утварью, отразились в глиняной и стеклянной посуде, стоящей на другой полке, сверкнули, пробегая по выстроенным рядком латунным подносам и ложкам. Итак, действие происходит в кухне; спешу уточнить: в кухне затерянного в горах трактира.

В оной кухне тень уже поглотила юношу шестнадцати лет, примостившегося в уголке. Те, кто часов этак в шесть стояли на пороге и болтали с соседями, могли видеть, как он приблизился и зашел внутрь: на плече — охотничье ружье, у ног — собака. Куртка у юноши бумазейная, однако на шелковой подкладке. Сев обедать, он больше не сдвинулся с места; когда же настал черед фруктов, настал черед и сумерек.

Что ж, милости просим! Охотник, видать, притомился. Чтобы бродить по горам, крепких горских башмаков недостаточно. Хозяйская дочка поставила на стол, не зажигая, два зеленых жестяных светильника и, когда гость, закрыв глаза, прилег на деревянную лавку, молча уселась у широкого камина, прислонившись к стенке — словно собралась вздремнуть. Тем временем легавая, до блеска вычистив миску и облизнувшись, свернулась у ног хозяина и зажмурилась — из них троих не притворялась только она.

Вот именно, ибо юноша, прикрыв глаза, не отводил взгляда от девицы. Признаться, он пришел в смятение с самого начала, с того мгновения, когда нежный, серебристый, волнующий кровь голосок промолвил ему "Добрый день!", а вместе с голосом пред ним предстал прелестнейший бутон юности. Когда же он осмелился позволить себе вольности, дабы прогнать

1. Поскольку во времена Досси (конец XIX — начало XX вв.) табак стоил дорого, вечерами на улице нередко можно было увидеть человека с фонарем, собирающего окурки, чтобы перепродать добытое таким образом курице. Что же до кошек, в эпоху, в которую происходит действие рассказа, они нередко становились жертвами голодных оборванцев, которые ловили их и съедали.

сжимавшее горло волнение — помог хозяйской дочке расправить скатерть, расставить тарелки и бокалы, достать воды из колодца, — волнение лишь усилилось: вместо одного блюда он принимался за другое, вместо воды пил вино... а в довершение всего обжегся и порезался... О, благословенные сумерки!

Ибо теперь, под их покровом, Гвидо пожирал глазами присевшую у камина девицу, на которую то и дело ложился отсвет вспыхивавших поленьев. Юноша вновь и вновь ласкал взглядом ее печально склоненное лицо, чьи краски хоть и подобали крестьянке, зато профиль пристал благородной даме; на эти ждавшие лобзаний уста и подбородок он охотно поставил бы печать Купидона; взор его с наслаждением блуждал по ее густым каштановым волосам, после, задержавшись на ушке с коралловой мочкой, стал спускаться все ниже и ниже, следуя округлым линиям стройного и гибкого девичьего стана. Затем он вернулся к волосам, дабы обнаружить среди них розовый бутон. О, как счастливы прикрепившие его руки! Жаль, что чужие! И, вздыхая, он завидовал тому, о ком грезилa дева.

Но кто же это мог быть? Не раз залилась она краской — разумеется, виновником тому был вовсе не жар огня. Девушка ощущала присутствие Гвидо; я бы даже осмелился сказать, она пребывала в смутном ожидании, что вот-вот почувствует его руку у себя на плече; она и желала этого, и страшилась. Ах! Как он мил! Хозяйская дочка невольно сравнивала его с неотесанными односельчанами, что приходили в трактир напиться да затеять ссору, говорили с ней грубо, по-простому и пускали ей в лицо клубы гадкого табачного дыма. К тому же он так красив (в этом месте девушку пробрала дрожь)! Он словно стоял перед ней — с ясным и нежным, как персик, лицом, с ослепительной улыбкой, с голубыми глазами — добрыми, как сама доброта. Но ведь он-то богат! А она моет посуду!

Тут ее глаза наполнялись слезами, и она еще ниже склоняла чело.

Для обоих это были мгновения напряженного томления, мгновения вне пространства и времени, когда за одним-единственным предметом им виделись тысячи неясных предметов и ощущений, мгновения, поведасть о которых способна лишь музыка, говорящая на понятном всем языке.

Молчание — глубокое; небо — усыпанное звездами.

И так они просидели... Как долго?.. Я не глядел на часы. Впрочем, я уверен, что они оставались бы так еще очень и очень долго, не донесись с соседней церкви тяжелые, мрачные, медленные одиннадцать ударов.

Это был голос, объявивший со смирением: “Время идет”. Потом он смолк.

Как вдруг почти одновременно с ним в комнате раздалось: “Трак!” И тут же пронзительно закуковала кукушка, повторив, который пробил час.

Ее пение прозвучало как последнее, лишившее всякой надежды слово в оглашенном с колокольни приговоре. Птичка будто подгоняла: “Ну-ка, живее!”, “Трак!” — и дверка захлопнулась.

Девушка осторожно поднялась. Подошла к столу, взяла один светильник, вернулась к камину, наклонилась и зажгла огонек.

Гвидо тоже поднялся. Он взял другой светильник и, приблизившись к красавице, едва не дрогнувшим голосом попросил ее сопроводить его в комнату.

— Идемте! — сказала она негромко и пошла впереди Гвидо. Так, один за другим, поднялись они по узенькой лестнице — медленно, словно наверху их ожидал топор палача.

Но вот и второй этаж.

Они остановились. Гвидо приблизил свою нетронутую свечу к ее горевшей свече; что же до взглядов, никто из них не подымал глаз, твердо зная, что другой глядит на него.

Ах ты, чертов фитиль! Не загораясь, да? Не Амур ли тебя сплел? Ты полагаешь, что и единственная свеча здесь лишняя? В одном можно не сомневаться: сейчас руки наших прелестных героев не слишком пригодны для того, чтобы зажигать светильники.

Но наконец-то, ах! Получилось. Два язычка пламени на миг сливаются, затем расстаются. Наши герои тоже. Они желают друг другу доброй ночи (в душе называя ее недоброй). Он распахивает одну из дверей и исчезает, она сходит обратно по лестнице.

А что же легавая? Легавая, много чего повидавшая на своем веку, наверняка веселится, растягиваясь у дверей комнаты своего хозяина, покрасневшего так, что лицо его при свете свечи кажется совсем оранжевым.

Сдается мне, что из них троих довольна только она.

Аделина

И вновь я наткнулся на похоронную процессию у свеживырытой могилы! Хоть она и изображала из себя процессию второго класса, но толкалась так, как толкаются только в третьем. Тем лучше! Наверняка священники, отпевавшие усопшего, не стали долго его томить.

Что же до собравшихся, на вид все приличные люди. Сперва я подумал, что представился королевский чиновник — холостяк, эгоист до мозга костей, из тех, что, выйдя на пенсию, насмеются над правительством, тратя больше, чем выигравший

баснословную сумму в лотерею; затем я решил, что это, верно, одна из преосторожных старушенок, которые так и умирают старыми девами, оттого что боятся распробовать жизнь на вкус, и уже вознамерился было удалиться...

Как вдруг... кто-то громко высморкался. Не пора ли прозвучать последнему слову? Так и есть: обернувшись, я увидел, что пузатый священник в треуголке и чулках уже взгромоздился на холмик подле могилы. В каковую тем временем, поскрипывая, опустился гроб и, глухо охнув, замер. И вот немногочисленное собрание — почти исключительно девицы, из чьих прекрасных глазок, равно как и с тощих свечек у них в руках, все время обильно капало, — подходит ближе к могиле. Я тоже.

Священник долго потирает глаза, снимает треуголку, поправляет тулью и приступает:

— Наша Аделина причислена к сонму блаженных! С самого нежного возраста Аделина Джентили вступила на путь, ведущий на небеса. Не веря льстившим ей зеркалу и чужим словам, не желая наряжаться напоказ, чураясь пустых бесед и людского общества, лишь в беседе с Господом изливала она свои трепетные чувства. Лишь речи о Нем доставляли ей наслаждение, она обещала стать Его невестой и всем сердцем надеялась, что мечта ее сбудется. Не сократи Всезнающий и Всемогущий Господь ее дни, призвав ее к Себе, она бы непременно прибавила славы ордену капуцинок.

Знали бы вы, дети мои, с каким Божьим страхом прибежала она ко мне повиниться в своих мнимых грехах, кои и грехами-то не назовешь, и с каким рвением приступала к ангельской трапезе: принимая плоть и кровь Иисуса, она молила Его поскорее забрать ее к себе! И Господь внял ее просьбе.

Однажды ясным утром настало утро и для нее: Аделина ушла от нас. Вконец ослабев, не имея более сил шептать слова молитвы и прижимать к груди любимый крестик, сладостной улыбкой и нежным взором давала она понять, сколь великое счастье для нее слышать имя Господа, сколь радостно обращать к Нему мысли.

Она отошла тихо, словно голубка. И мне, молившемуся, стоя рядом с ней на коленях, почудилось, будто... в это мгновение раздалось хлопанье крыльев, разлился фимиам, издалека донеслись тихие звуки органа... Отчего же вы плачете? Над кем смилостивился Господь — над ней или над вами?.. Над ней, потому вслед за “De profundis” мы прочтем “Te Deum”.

Однако, вопреки увещаниям, рыдания становятся вдвое громче. В могилу падают цветы, затем первая лопата земли. Меня так и подмывает столкнуть вслед за нею священника.

Взволнованный, я оборачиваюсь, и что ж я вижу? Предомной охваченная священным трепетом нежная дева — под величественными сводами собора, в свете огней, в клубах фимиама, под звуки песнопений; она живо рисует себе в воображении адские муки и райское блаженство, жадно вчитывается в жития святых, ища пример для подражания, мечтает о тесной келье, так и не узнав, что она на нее променяет.

Впрочем, пробудившийся на мгновение инстинкт, поведает ей об этом.

Что это? Неужто сатанинские искушения? Неужто ей посланы испытания, о коих она так много слышала и читала? А еще она слышала и читала, что надобно сражаться, если хочешь выйти в сей битве победителем — сражаться, себя не щадя! И вот приходят ночи, когда она то затепляет, то гасит свечу, ночи смятения, когда она возлежит на постели и не может уснуть; она то вскакивает на ноги, то ворочается под одеялом, столь великой любовью к Господу воспылав, что чудится ей, будто любовью горит не только дух ее, но и плоть, и дыхание ее исполнено огня.

И тогда Аделина, сердечко которой из-за страха согрешить бьется еще сильнее, сбрасывает одеяло и ложится на коврик; закрыв руками лицо, прижавшись головою к ножке кровати, рыдая, она умоляет Господа, Мадонну, всех святых и блаженных спасти ее и дает самые непосильные обеты.

Однако темный ангел не отступает. *Diabolus in lumbis est!*¹ Ночи терзаний сменяют друг друга, дева чахнет... темные круги под глазами, яркий румянец на щеках... перепуганная родня посылает за лекарем — разумеется, стареньким.

Однажды Аделина осмеливается взглянуть в лицо юноше, видевшейся ей смутно, и тот ловит ее долгий и страстный взгляд. Скажите мне вы, познавшие любовь, какую бурю чувств переживает она, как кипит кровь в ее жилах! Увы! То, что для всякой стало бы чудеснейшим цветком из чудеснейшего сада, для нее оборачивается кладбищенской травой.

Пришедшая в смятение от охвативших ее чувств, не имея подруги, которой она могла бы открыть свое сердце, Аделина спешит к исповеднику и возвращается от него, твердя, что глаза — первая дверь, через которую входит грех, и что открывший ее ключ способен открыть еще многие двери! И что враг рода людского повсюду расставляет свои силки и, чего бы это ни стоило, нельзя ему уступать. Представьте себе! Ничтоже сумняшися, исповедник назначает ей строгий пост и вредоносные травяные отвары.

1. “Сила дьявола против мужчин заключается в чреслах; вся крепость его против женщин — в пупе” (Св. Иероним Стридонский “Послание к Евстохии. О хранении девства”).

Так наша дева, с пеленок не отличавшаяся крепким здоровьем, а нынче вконец ослабевшая под натиском тихого, медленного, не знающего усталости недуга, коего семени при иных обстоятельствах и вовсе бы не взошли, разрывается между мучительными угрызениями совести и губительной страстью; то горя в языках пламени, то дрожа от холода, она становится все слабее, все прозрачнее, словно хрусталь, а жизнь ее тает, подобно свечному фитилю.

И вот настает день, когда у нее нет сил встать с постели. О, не ждите ее больше, милые платица, висящие в уголке комнатки, а прежде всех — ты, красная шаль, привыкшая ласково обнимать ее девственные округлости. Бедная канареечка, кто угостит тебя орешками? Цветы в горшочках, кто станет вас поливать? Неужто вас оросят слезы ее мамы? Еще два дня — и ваша милая хозяйка будет метаться в бреду на узкой постели, слыша потрескивание адского пламени, яростно сжимая исхудалыми ручками крест, а мыслями обращаясь к возлюбленному. Еще одна ночь! И вы увидите, как она лежит неподвижно, холодная и бледная, словно утренняя заря. Грешите, барышни!

Свадебное путешествие

ПАРОЧКА, предававшаяся празднословию, сидя под газовым фонарем в вестибюле гнуэзского "Гранд-отель де Русси", — моряк с парохода "Тунис" и швейцар в голубой ливрее и фуражке с золотой каймой, — вскочила на ноги: возвращался гостиничный омнибус.

Швейцар дернул за шнур колокольчика — динь! Не успела кошка, дремавшая на краю крыши — шерсть дыбом, хвост трубой, — вскарабкаться на самый гребень; не успел кучер в последний раз натянуть поводья, а уже со всех сторон к омнибусу бежал народ, словно на него напали разбойники (возможно, так оно и было!): один распахивал дверцу, двое других приставляли железные лесенки, чтобы снять с крыши дорожные сундуки, четвертый, запыхавшись, спешил со свечкой в руке; как заведено, появились любопытная мордочка служанки и украшенная седыми бакенбардами физиономия похожего на замшелого лорда Пальмерстона¹ мажордома, с достоинством вылезавшим из омнибуса путешественникам.

1. Лорд Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784–1865) — британский политический деятель, премьер-министр Великобритании с 1855 по 1865 гг.

Первыми вышли Ментор и следовавший за ним Телемах — французский иезуит, для священника весьма чистоплотный, поглядывавший на все искоса и дышавший коварством, и бледный юноша лет пятнадцати, с потерянным видом. Несчастный отпрыск герцога де Же-не-се-куа¹, завершая образование, путешествовал по Италии; состоявший при нем черный человек призван был показать ее с самой что ни на есть католической точки зрения.

За ними выскочил старикашка в коричневом плаще с бархатным воротником, после лесенка застонала под тучной дамой с двойным подбородком и лицом красным, как у больного, которого вот-вот хватит апоплексический удар, — одна из тех грузных дам, коим суждено умереть, задохнувшись в собственной плоти. В одной руке одна держала уродливого спаниеля со слезящимися глазками; сойдя на землю и вручив величественному мажордому клетку с дроздом, она любезно предложила вторую руку той, что шла за ней следом.

Да разве могла опереться на ее руку Клаудия ди Виано! Вообразите, могла ли так поступить девица осьмнадцати лет, полная жизни, к тому же вышедшая замуж не далее как пять или шесть часов тому назад (супругом ее был высокий молодой человек со светлыми усами, видневшийся у нее за спиной)! Вообразите в придачу девицу, полагавшую, что она скачет ловко, как горная козочка, и просто создана для путешествий!

Еще с той поры, когда она носила коротенькую юбочку, Клаудию обуяла маниакальная страсть к путешествиям и опасным приключениям. Можно сказать, она выучилась грамоте по книгам о капитане Куке, о Синдбаде и по повести Марко Поло: засыпая над историей Робинзона Крузо или Швейцарца², от которого она была без ума, девочка мечтала о том, как она будет разгуливать по необитаемому острову, одетая в козлиную шкуру, а где-то поблизости сядет на мель корабль с неистощимыми запасами продовольствия. Впрочем, мечтами дело не ограничивалось. Однажды, когда день уже клонился к закату, ее батюшка, возвращаясь с охоты, обнаружил в лесной чаще свою малютку, свернувшуюся клубочком у кучки хвороста; девочка, чьи карманы набиты были гвоздями, обрывками веревки и хлебом, заблудившись, несканно обрадовалась, однако, обнаружив, что позабыла взять спички, залилась горячими слезами.

1. Je ne sais quoi — Чего-не-знаю (*франц.*).

2. Вероятно, имеется в виду роман Иоганна Висса "Швейцарский Робинзон" или его продолжение, написанное Жюлем Верном.

Девочка подрастала и вместе с ней росли ее причуды. Стол Клаудии был завален географическими картами, фотографиями ледников, отчетами о бесплодных экспедициях на Северный и Южный полюс и к истокам Нила. Когда же в ее фантазиях впервые возник мужчина, она нарядила его в форму морского капитана и, вручив подзорную трубу, водрузила на носу судна; она страстно желала встретить его, чтобы вместе войти в Баффинов залив и вместе оставить следы на вершине Давалагири.

Впрочем, в ожидании господина капитана, Клаудии пришлось довольствоваться тем, что она попивала пунш, пересекая с маменькой и папенькой Ла-Манш, и знакомила свою трость для горных прогулок с замком Пилата, Форкой, Фаульхорном и Юнгфрау¹. Будь майор Типтоф из Британской Вест-Индии, с которым она встретилась на горе Риги — врун, каких мало, известный пьяница и гроза диких тигров, — чуть любезнее и чуть моложе, можно поклясться, что сейчас Клаудию величали бы “леди”.

К счастью, сей лакомый кусочек достался молодому человеку — кавалеру ди Виано. Ди Виано тоже немало поколесил по свету и потому, начав увиваться за Клаудией, сразу заткнул за пояс ее старинных приятелей.

— Как занимательно он рассказывает! — восхищалась она.

— А как горят его глаза! — говорили мы. Так — рассказ за рассказом, взгляд за взглядом, — однажды вечером ди Виано попросил барона Фьорелли принять его; коротко с ним побеседовав, барон расцеловал его в обе щеки: “Фу-ты ну-ты! Не ожидал!”. Детки так полюбили друг друга, что ничего не замечали вокруг, в придачу они были молоды, знатны, богаты, во всем ровня. Кому же соединять судьбы, если не им?

Однако юная баронесса поставила условие: осуществить ее чудесную девичью мечту и после свадьбы отправиться, на худой конец, в Африку.

На худой конец! Ди Виано невольно прикусил губу. Он заметил ей, изо всех сил стараясь быть убедительным, что солнце Ливии запекает каштаны прямоком на деревьях, что под подушками — в которых, разумеется, не водятся блохи — непременно прячутся скорпионы и во-от такие длинные змеи; что же до пирамид, не стоит тратить на то, чтобы их осмотреть... Те же треугольные дверные упоры, только громадные.

— Что ж, тогда... прощай! — сказала Клаудия, сопроводив слова презрительным жестом.

1. Так называемый замок Пилата находится в области Валле д'Аоста; Форка, Фаульхорн и Юнгфрау — горы в Швейцарии.

— Нет, что ты! — ласково возразил он. — Мы отправимся туда, куда ты пожелаешь, любовь моя! — И в подкрепление своих слов за неделю собрал сведения о пароходах, отпывавших из Генуи в Александрию.

Постановили отправиться в день свадьбы. Вместе с родней новобрачные терпеливо высидят торжественный обед, затем поедут по железной дороге и... наше почтение! Так все в точности и произошло: что же до обильного угощения... оставим это; нет ничего скучнее для любящей пары и для тех, кто обыкновенно не может похвастаться хорошим аппетитом, чем семейное торжество, где непременно окажешься рядышком с родственником, от которого ты только что старался улизнуть; где придется стать свидетелем пустых и бессмысленных ссор, да то и дело греть руки, хлопая в ответ на пошлые поздравления, всякое слово в которых — звонкое, как гул пустой бочки, вранье, или загадка, как иероглифы Люксорского обелиска¹.

Прибавьте к этому, что на сей раз молодоженам довелось в полной мере испытать удовольствие от поездки на вокзал в большой компании: Камилло в одной карете, вместе с отцом новобрачной и двумя престарелыми дядьями, проживающими в деревне и напечатавшими по случаю сего радостного события книжонку “Разыскания об удобрениях”; Клаудия в другой, вместе с маменькой и тремя кузинами, беспрестанно ее тискавшими, целовавшими и произносившими, еле сдерживая слезы, пламенные речи о жестокосердных мужчинах.

Но вот наконец-то они в вагоне одни... одни! Одни, смеем надеяться, они и проделают часть пути; вот уже... дверь вагона первого класса захлопывается, вот-вот поезд тронется... Увы! Бедняжки... Дверь вновь распахивается, и какой-то человечек заглядывает внутрь.

— Эй, Бета! — кричит он. — Глянь-ка... да тут целому чиновничьему семейству место найдется!

Непрошенный гость заходит, за ним вливается дородная тетка, сипящая, как музыкальная хлоплушка, красная, как спелый арбуз, и усаживается напротив наших молодоженов.

Ах, судьба-обманщица! У Клаудии и Камилло вытянулись лица. У кавалера мелькнула было мысль перебраться в отдельное купе, но поезд уже тронулся; Клаудия успела шепнуть ему “на первой же остановке”, однако, после того как вошедшая отдышалась, все четверо нашли утешение в том, чтобы познаться и обнаружить, что они чуть ли не родственники.

1. Египетский обелиск на площади Согласия в Париже.

Вообразите себе это миленькое путешествие! Два потрепанных голубка прицепились, словно крючки к петлям, к нашим нежным птенчикам: не тратя зря ни секунды, они всю дорогу развлекали их рассказами на местном говоре, оказавшемся как нельзя кстати... и о скучных буднях семейной жизни, и о том, что любовь похожа на вино: откупишь бутылку — и оно вмиг прокисло; о том, как проявлять рачительность, выкраивая детские одежонки из папашиних штанов да из старых коноплиных покрывал. Камилло даже не смог позволить себе удовольствие взять в рот "Виргинию". Хотя вагон был для курящих, он, будучи воспитанным человеком, спросил: "Позвольте?" — но толстуха принялась умолять его ради всего святого не закуривать. Не из-за нее самой, о нет! Табачная вонь беспокоила милого песика — закутанного в шаль уродца, дремавшего у нее на коленях. Хуже того, когда у Клаудии сорвалось с языка название гостиницы в Генуе, куда они направлялись, старичок заявил:

— Отлично! Мы тоже туда поедem, правда, Бета?

— Да, да, — подтвердила толстуха. — И будем иметь удовольствие вместе откушать.

Потому-то мы и увидели, как две парочки, одна за другой, вылезли из омнибуса у "Гранд-отель де Русси", а теперь давайте вместе с ними направимся к широкой лестнице.

— Желаете один номер, синьоры? — спрашивает мажордом у гостей, прибывших из краев, где лакомятся пареной тыквой¹.

— Не, не, — отвечает синьор Андзолло², — нам надобно два. Что вы... хоть ночью-то... Избави Боже!

Мажордом протягивает слуге пару ключей.

— И вы, синьоры, — спрашивает он у наших молодежков, — желаете два номера?

— Полагаю, одного будет достаточно, — с улыбкой отвечает Камилло, — верно, Клаудия?

Но в это мгновение раздается хриплый, словно простуженный голос:

— Извиняюсь, кто тут будет кавалер де Виану?

— Я... — обернувшись, отвечает Камилло.

Взяв под козырек, моряк повторяет: "Извиняюсь, меня прислали за багажом..."

— А! Отлично! Погоди. Клаудия, — говорит ди Виано, не спуская глаз с любезных попутчиков, почти достигших верхнего этажа, — я покамест распоряжусь... всего два слова... о

1. Тыква, которую выращивают на Паданской равнине, широко используется в местной кухне.

2. Андзолло — венецианский вариант имени Анджело.

багаже, а ты выбери комнату и позаботься о вкусном ужине... Если же ты предпочитаешь отужинать вместе с Брагадье...

— Упаси Господь! — перебивает его жена. Вслед за слугой, несущим две дорожные сумки из юфтяной кожи, и за служанкой, взявшей шарфы и пледы, Клаудия направляется к лестнице; кавалер в сопровождении моряка пересекает двор.

И правда, на все про все хватает и пары слов. После чего ди Виано следует тем же путем, что и его молодая жена, и, дойдя до конца коридора, толкает дверь с номером 15.

Ах! Какое чудесное зрелище! В изящной гостиной, освещенной двумя лампами, на накрытом белоснежной скатертью круглом столе блистают хрусталь и серебро, стоит корзина цветов и, главное, ароматные блюда, от которых у него сразу же начинается ходить кадык; в распахнутую дверь виднеется соседняя комната, убранная в небесно-голубых тонах, а в ней — новобрачная, поправлявшая перед зеркалом локоны.

— Клаудия! — зовет Камилло, стуча ложкой о бокал.

— Да, синьор! — отвечает она, подбегая к нему.

Накрывший ужин слуга пододвигает ей стул.

— Вот видишь, всё на месте, — нарочито громко говорит новобрачная мужу. — Знаешь, всё уже подали...

— Ну, коли так, — заключает Камилло, оборачиваясь к слуге, — если вы нам понадобится, мы вас позовем.

Слуга в знак согласия кивает.

— В котором часу, господин граф, — интересуется он, — завтра...

— Мы отплываем на “Тунисе”... — говорит кавалер. — Значит... значит, разбудите нас в семь.

— В семь, — повторяет с поклоном слуга и выходит.

Тук-тук, в дверь стучат.

Камилло просыпается. Даже во сне он все время прислушивался. Он потягивается, приподнимается на подушках и, нервно зевнув, отвечает:

— Да!

— Синьор, семь часов, — сообщает голос за дверью.

— Отлично, — говорит кавалер. Садится на постели, потирает глаза и оглядывается.

Комната залита бледным светом. В этом свете подле Камилло виднеется его милая супруга: с распущенными волосами, полуоткрытым ртом, развязанными ленточками рубашки, одна рука покоится на одеяле, выглядывая из короткого, отороченного кружевом рукава, — полная, округлая, с задорной ямочкой на локте, — его женушка спокойно спит себе сладким сном.

Молодой человек думает, что будить ее жалко. Правда, жалко. Он сверяется с часами и, видя, что до назначенного часа остается пять минут, решает их ей подарить. Следит, как ползет неспешная стрелка и... Почти одновременно где-то вдали колокола бьют семь.

— Пора, — со вздохом думает Камилло. — Если я промолчу, она будет сердиться. — И, склонившись к лицу Клаудии, легонько дует ей в лоб.

Бесполезно. Словно муха пролетела.

Она лишь на мгновенье морщится... и все.

Вот тебе другой будильник — поцелуй.

Громкий, звонкий поцелуй, который дарит себе Камилло. Затем отодвигается.

На сей раз она пробуждается. Поворачивает свои полные любви большие глаза и...

— Мама! — улыбается она.

— Вот тебе и мама, — смеется Камилло.

Она краснеет.

— Ну-ка, лежебока, — говорит он, вновь целуя ее, — ты не забыла, что мы в свадебном путешествии...

Однако Клаудия не шевелится: она с томным видом продолжает смотреть на супруга.

— “Тунис” отплывает в восемь, — напоминает он.

— А здесь так хорошо, — шепчет она.

— Разумеется, — соглашается Камилло, — но куда поэтичнее плыть по волнам! Ты только вообрази, что мы стоим на носу корабля, рассекающего морскую гладь... под звездным небом... когда волны “заснут безмятежно на груди у Тефиды”¹ или когда “белым стадом взревет хлябь”², мы вдвоем, обнявшись, предаемся полету фантазии...

— И так далее, — прерывает его супруга.

— А еще подумай о чудесных местах, об ожидающих нас романтических приключениях. Я живо воображаю, как мы пересекаем раскаленную песчаную пустыню, изнуренные огненным Самумом, останавливаемся отдохнуть в шатре, раскинутом в свежайшем оазисе, вместе с нашими провожатыми цвета черной икры и с нашими верблюдами; вот мы с тобой жарим на огне мясо льва или тигра, а вот я уже на вершинах Джурджуры³, восседаю, скрестив ноги, на колючей подстилке, передо мной

1. Строка из стихотворения Фульвио Тести “Гордый ручеек”.

2. Лудовико Ариосто. Неистовый Ролан. Песнь XLI:9. Перевод М. Л. Гаспарова.

3. Национальный парк в Алжире.

шейх кабиллов... белобородый... старец Абу-Хассан-Мухаммед, предлагающий изысканное угощение...

— Из саранчи, — договаривает за него Клаудия.

— Ты только вообрази наши переплетенные инициалы, которые мы прикажем выбить на колоссах Мемнона рядом с именем Его Императорского Величества Каракаллы! Вообрази пирамиды и трех колоссов, с высоты которых на нас смотрят сорок с половиной веков¹ и у подножья которых бедуин, наверняка ведущий свой род от Аписа, в наряде живописном...

— И грязном...

— Грязном... ладно, пусть грязном... протянет нам горсть скарабеев, этих зеленоватых божков, которых копыто его верного скакуна случайно отроет... на одной каирской фабрике. А затем — вулканы Тенерифе...

— Да ведь у нас в Лоди некий Гюрини сочинил про вулканы целую книгу!² — нетерпеливо перебывает его супруга.

Кавалер пристально глядит на нее:

— Ты шутишь или серьезно?

Она, глядя на него не менее пристально, задает ему тот же вопрос.

— Ну... ладно... ты встаешь?

— А *quoi bon*?³

В это мгновение вновь стучат в дверь.

— Синьор, уже половина восьмого.

Камилло (шепча Клаудии на ухо):

— Ну, так что?

Клаудия (тихо, немного испуганно):

— А тебе правда хочется плыть?

Дин... дон... — вдали раздается звон колокола: видимо, он доносится с “Туниса”, поскольку стрелка настенных часов упирается в цифру восемь.

— Пароход отплывает, — делано вздыхает Камилло.

— Доброго пути! — восклицает Клаудия, светясь от радости. И вдруг спрашивает: — А как же наш багаж?

Кавалер хохочет, потом улыбается и говорит:

— Не тревожься, душенька; наш багаж там, — указывая на соседнюю комнату.

Клаудия задумывается: покусывая мизинец, она пристально вглядывается в лицо своего Камилло и, наконец, заключает:

— Ах!.. Так ты все знал!..

1. Имеется в виду знаменитая фраза Наполеона: “Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид”.

2. Известный ученый Паоло Гюрини из города Лоди опубликовал трактат “О происхождении гор и вулканов”.

3. Зачем? (*франц.*)